



С. И. БЭЛЗА

Образ Данте у русских поэтов

Дантовская традиция русской литературы восходит к Пушкину. Его взору открывался истинный смысл наставлений, «сокрытых под странными стихами»¹, которые стремился постичь «русский Данте».

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает...

Томик Данте был спутником Пушкина не только во время арзрумского путешествия. Над ним провел поэт немало часов, вникая в тайны мастерства и постигая высшую мудрость создателя «Божественной Комедии».

Точность и лаконизм пушкинских эпитетов поразительны. Одно из лучших тому подтверждений — знаменитый сонет 1830 года, начинающийся строкой:

Суровый Дант не презирал сонета...*

Получивший благодаря Пушкину широкую известность и повторенный затем многократно эпитет суровый прочно «закрепился» за Данте и сделался в России, вероятно, самой распространенной краткой его характеристикой. Данте виделся Пушкину суровым, бесстрашно-правдивым поэтом, дерзновенно вершащим терцина-

* Этим пушкинским стихом начал один из своих сонетов Николай Ушаков. См.: *Ник. Ушаков*. Веснодворец. Киев, 1962, стр. 89.

ми своей «Комедии» нелюбимый суд над людьми, какое бы положение они ни занимали.

В 1825 году в стихотворении «Андрей Шенье» Пушкин сблизил имена Байрона и Данте:

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,
Зовет меня другая тень...

Нужно помнить также, что Пушкин постоянно обращался к дантовским образам, в особенности к так называемому «пророчеству Каччагвиды о “крутых ступенях” и “горьком хлебе чужой земли”». Этот зловеющий образ встречается и в «Пиковой даме» (о судьбе Лизы) и в черновых набросках «Цыган»*.

Кто знает, быть может именно под впечатлением бесед с Пушкиным сложил и П. А. Вяземский следующие строки стихотворения «Станция», начатого в 1825 году:

Певец, который ведал горе,
Сказал: «Nessun maggior dolore»²
И прочее...**

В авторских примечаниях к «Станции» Вяземский полностью приводит оборванную им цитату из V песни «Ада» и пишет о «мрачности и глубокости Данта»***, что также перекликается с высказываниями Пушкина.

В пушкинскую эпоху Россия впервые по-настоящему общилась к Данте. Появились первые стихотворные переводы из «Божественной Комедии» (за ними с пристальным интересом следил Пушкин, резко отозвавшийся о фрагменте, опубликованном А. Норовым, и крайне доброжелательно встретивший перевод, выполненный П. Катениным). Были созданы первые поэтические произведения, навеянные поэмой Данте, как, на-

* См. публикуемую в настоящем сборнике статью А. А. Илюшина.

** В другом месте этого стихотворения Вяземский прямо вспоминает Пушкина.

*** П. А. Вяземский. Стихотворения. Л., 1958, стр. 183.

пример, посвященный графине Д. Ф. Фикельмон «Сон» (1831) И. И. Козлова, представляющий собою по существу обзор ряда эпизодов из «Ада»:

... и с Дантом я бродил в стране мученья,
Сменялися одно другим явления...

Д. Д. Благой подчеркивает, что Пушкин собирался взять «Божественную Комедию» за образец композиции «Евгения Онегина», также задуманного как «тройственная поэма»*.

К окружению Пушкина принадлежал и С. П. Шевырев — переводчик Данте и автор первого русского историко-филологического исследования о нем. Находясь в Италии, Шевырев писал в «Послании к А. С. Пушкину» (1830):

Из Рима мой к тебе несется стих,
Весь трепетный, но полный чувством тайным,
Пророчеством, невятным для других,
Но для тебя не темным, не случайным.
Здесь, как в гробу, грядущее видней;
Здесь и слепец дерзает быть пророком;
Здесь мысль, полна предания, смелей
Потьмы веков пронзает орлим оком;
Здесь Дантов стих всю бездну исходил
От дна земли до горного эфира...

Великий флорентиец упоминается во многих стихотворениях Шевырева (таковы, например, «Тройство», «Камень Данта»). Он считал поэзию Данте воплощением «истой гармонии» и писал:

Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!
Как сладко их смелым умом разбивать!
Как дивно над речью глубокой
Всплываешь ты мыслью высокой:
Что в море купаться, то Данта читать.
(«Чтение Данта», 1830)

* Д. Д. Благой. «Евгений Онегин» в кругу великих созданий мировой литературы. — Сб. «Проблемы сравнительной филологии». М.—Л., 1964, стр. 331–333.

Однако русские поэты чтили Данте не только за совершенство слога. Для большинства из них он был прежде всего символом поэта-пророка, поэта — обличителя зла, поэта-патриота, борца. Это привлекало к Данте декабристов, петрашевцев, многих и многих прогрессивно настроенных поэтов России. Рылеев взял эпиграф из «исповеди Франчески» к поэме «Войнаровский». Лермонтов процитировал в «Вадиме» стих из надписи на вратах Ада. Кюхельбекер в своей поэзии не ограничился реминисценциями из «Божественной Комедии» («Суров и горек черствый хлеб изгнанья...», 1829) или просто упоминанием Данте («Смерть Байрона», 1824). В стихотворении, которое во многих отношениях созвучно пушкинскому «Памятнику», поэт писал:

Не весь истлею я: с очей потомства
Спадет покров мгновенной слепоты —
И стихнет гул вражды и вероломства,
Умолкнет злоба черной клеветы —
Забудут заблужденья человека;
Но воспомнят чистый глас певца,
И отзовутся на него сердца
И дев и юношей иного века.
Приидет оный вожделенный день.
И радостью вострепещет от приветов
Святых, судьбой испытанных поэтов
В раю моя утешенная тень.
Тогда я робко именем клеветов,
Великие, назвать посмею вас, —
Тебя, о Дант, божественный изгнанник,
О узник, труженик бессмертный Тасс,
Тебя — и с ним тебя, бездомный странник,
Страдалец, Лузитании Гомер!³
Вы образцы мои, вы мне пример.
(«Предел безмолвный, темный уголок!..»)

Это признание декабриста приобретает особую ценность, если вспомнить, что оно относится к 1832 году, когда Кюхельбекер томился в крепостной камере-одиночке.

С. Ф. Дуров, один из наиболее активных участников кружка М. В. Петрашевского, мужественно отбывавший срок каторги в омском остроге вместе с Ф. М. Достоевским, перевел стихо-

творение о Данте, принадлежащее французскому поэту Анри Огюсту Барбье:

О старый Гиббелин! Когда передо мной
Случайно вижу я холодный образ твой,
Ваятеля рукой иссеченный искусно, —
Как на сердце моем и сладостно и грустно...
Поэт! В твоих чертах заметен явный след
Святого гения и многолетних бед...
Под узкой шапочкой, скрывающей седины,
Не горе ль провело на лбу твоём морщины?
Скажи, не оттого ль ты губы крепко сжал,
Что граждан бичевать проклятых ты устал?
А эта горькая в устах твоих усмешка
Не над людьми ли, Дант? Презренье и насмешка
Тебе идут к лицу. Ты родился, певец,
В стране несчастливой. Терновый свой венец
Еще на утре дней, в начале славной жизни,
На долю принял ты из рук своей отчизны.
Ты видел, как и мы, на отческих полях
Людей, погрязнувших в кровавых мятежах;
Ты был свидетелем, как гибли семейства
Игралищем судьбы и жертвами злодейства;
Ты с ужасом взирал, как честный гражданин
На плахе погибал. Печальный ряд картин
В' течение многих лет вился перед тобою.
Ты слышал, как народ, увлекшись мечтою,
Кидал на ветер все, что в нас святого есть, —
Любовь к отечеству, свободу, веру, честь.
О Дант, кто жизнь твою умел прочесть, как повесть,
Тот может понимать твою святую горесть,
Тот может разгадать и видеть — отчего
Лицо твое, певец, бесцветно и мертво,
Зачем глаза твои исполнены презреньем,
Зачем твои стихи, блистая вдохновеньем,
Богатые умом и чувством и мечтой,
Таят во глубине какой-то яд живой.
Художник! ты писал историю отчизны;
Ты людям выставял картину буйной жизни
С такою силою и верностью такой,
Что дети, встретившись на улице с тобой,
Не смея на тебя поднять, бывало, взгляда,
Шептали: «Этот Дант, вернувшийся из ада!..»

(«Данте», 1843)

Переводы зарубежной политической лирики составляют значительную часть наследия С. Ф. Дурова. У Гюго и Барбье находил он близкие для себя темы, мотивы, созвучные его собственным идеям, — переводы его могут рассматриваться поэтому наряду с оригинальным творчеством как в полной мере отражающие взгляды и убеждения русского поэта. Переводя, скорее даже перелагая стихотворение Барбье, Дуров хотел поставить так волновавшую его — всегда актуальную — проблему о назначении и долге художника перед обществом, перед самим собой. Данте в этом отношении казался Дурову, как Пушкину и Кюхельбекеру, достойным образцом для подражания.

Фигура Данте, неизменно привлекавшая свободолюбивых русских поэтов, встает и в стихах другого поэта — петрашевца А. Н. Плещеева:

И понятней с каждым годом
Становилось мне потом
Слово, сказанное миру
Ада сумрачным певцом...
(«Воспоминание», 1876)

Помимо близости выбранного Плещеевым эпитета *сумрачный** к пушкинскому *суровый* и следующей за этим четверостишием почти буквальной цитаты из V песни первой кантики «Божественной Комедии», важно, думается, отметить, что для многих русских поэтов — в том числе как предшественников Плещеева, так и вступивших в литературу значительно позже — Данте был в первую очередь именно «певцом Ада».

Остро ощущаемая «инфернальность» различных сторон общественной жизни в царской России нередко прямо ассоциировалась у писателей с «Адом» Данте. Отличным тому примером может служить поэма в трех песнях «Ад» (1862) Д. Д. Минаева, переведшего, кстати, «Божественную Комедию». Признанный мастер сатиры, поэт-демократ Минаев нашел форму путешествия в ад

* Этот же эпитет встречается позже у Брюсова:

Франческа! счастьем ты отравлена!
Прелюбодейка и дитя,
Ты Данте сумрачным прославлена,
Бессмертье дважды обрета.

(«Римини», 1905, 1914)

наиболее приемлемой для обличения современной ему действительности, «нынешнего ада»:

Едва ли стих, которым пишут оды,
Послання «к ней», к трем звездочкам, к луне,
Стих, мелкий льстец и раб вчерашней моды,
Сумеет людям передать вполне
Картину ада, нынешнего ада,
Куда спуститься вздумалось мне.
Певучих рифм для этого не надо;
Тут воплями и скрежетом зубов,
Шипением раздраженного гада
Откликнуться в рассказе будь готов...
О муза робкая! хоть на минуту
Забудь свой пол, стыдливости покров,
И загляни со мною в глубину ту,
Где не один знакомый нам земляк
Стал осужден гореть подобно труту.

. . .

А вокруг меня вставало царство лжи
В дыму костров, которые не гасли...
Там плавали распухшие ханжи
Одной семьей в кипучем постном масле;
Там в грудь певца вселился наглый бес
И заставлял — из злости ль, из проказ ли —
Его тянуть всю вечность *ut diez*⁴;
Без отдыха трагический ломака
Ревел, как Лир, попавший ночью в лес;
Там, рук лишен, кулачный забияка,
Скрипя зубами, в пламени скакал:
Ему везде мерещились — то драка,
То уличный классический скандал;
Там лихоимцев мучались орды,
Там корчился мишурный либерал,
Которым все мы прежде были горды;
Там в рубище скорбел парадный фат
И скромностью страдали Держиморды...

В связи с этой поэмой Минаева нельзя вновь не вернуться к Пушкину. Вполне вероятно, что корни минаевского «Ада» вос-

ходят не только к самой «Божественной Комедии», но и к пушкинским терциям 1832 года. «И дале мы пошли...». К этим двум связанным между собою фрагментам никак нельзя относиться просто как к шутливым или «озорным» опытам Пушкина. Не говоря уже о том, что отрывки эти во многом определили способ рифмовки и другие формальные приемы русских стихотворных переводов «Божественной Комедии», появившихся после их опубликования, пушкинские терцины положили начало целому ряду произведений отечественной поэзии, где автор как бы ставит себя на место Данте и в сопровождении Вергилия, Люцифера или другого вожатого совершает путешествие по аду. Сохраняя такой сюжетный ход, в большинстве случаев и традиционную дантовскую форму стиха, авторы при этом не пересказывают эпизоды «Божественной Комедии», а рисуют иные картины ада, осовременивают его и населяют другими персонажами, изобретают для них новые мучения*.

Если еще в первые десятилетия прошлого века Италия была для большинства русских поэтов прежде всего, по выражению И. И. Козлова, «Торкватовой землей», то начиная, скажем, примерно с 30-х годов XIX столетия она все больше становится «страной Данте», а Флоренция — «городом Данте»**.

В 1865 году, когда отмечалось 600-летие со дня рождения Данте, находившийся к тому времени уже в эмиграции соратник А. И. Герцена Н. П. Огарев сочинил посвященный юбилею прекрасный, пронизанный революционным пафосом сонет: «Il giorno di Dante»⁵

* Надо сказать, что одной из ведущих тем в творчестве поэтов, эмигрировавших из России после Октябрьской революции, сделалась тоска по родине. Владислав Ходасевич, например, следующим образом завершает стихотворение «Перед зеркалом», имеющее подзаголовок «Nal mezzo del cammin di nostra vita»:

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

** Сергей Городецкий пишет в стихотворении «Флоренция» (1912):

В язык певучий и старинный
Бессмертных Дантовых терцин
Вникаем мы душой невинной,
Не подряхлевшей от кручин.

...Италия! Я шлю тебе привет
В великий день народных ликований!
Но в этот день поэта «вечной муки»
Готовь умы к концу твоих невзгод,
Чтоб вольности услышал твой народ
Заветные, торжественные звуки,
И пусть славян многоветвистый род
Свободные тебе протянет руки.

Большой интерес к Данте проявляли русские символисты. Не будем перечислять всех поэтов этого направления. Заметим только, что настоящее увлечение Данте началось с Валерия Брюсова. Пленивший его «образ из далеких лет» дается поэтом в развитии:

Мечтательный, на девушку похожий,
Он приучался к зрелищу смертей,
Но складки на челе ложились строже.
Он, веривший в величие людей,
Со стоном звал: пускай придут владыки
И усмирят бессмысленных детей.
Под звон мечей, проклятия и крики
Он меж людей томился, как в бреду...
О Данте! о отверженец великий, —
Воистину ты долго жил — в аду!

(«Данте», 1898)

Из всех русских поэтов у Брюсова — самое большое количество произведений, посвященных Данте*. Вот терцины «Данте в Венеции» (1900):

Но вдруг среди позорной вереницы
Угрюмый облик предо мной возник.
Так иногда с утеса глянут птицы, —
То был суровый, опаленный лик.
Не мертвый лик, но просветленно-страстный.
Без возраста — не мальчик, не старик.
И жалким нашим нуждам не причастный,
Случайный отблеск будущих веков,

* О напряженном интересе и любви Брюсова к Данте, о его работе над переводом «Божественной Комедии» см.: *Святослав Белза. Брюсов и Данте.* — В сб.: «Данте и славяне». М., 1965, стр. 67–94.

Он сквозь толпу и шум прошел, как властный.
Мгновенно замер говор голосов,
Как будто в вечность приоткрылись двери,
И я спросил, дрожа, кто он таков.
Но тотчас понял: Данте Алигьери.

В стихах Валерия Брюсова подчеркивается не только «суровость» Данте, но также именно та его человечность, за которую ратовал О. Мандельштам. Данте у Брюсова — неблагоприятный манекен, изъясняющийся сладкозвучными терцинами и сонетами, это — великий художник, мастер и, вместе с тем, обыкновенный, несчастный, страдавший человек:

Больше никогда на нежное свиданье
Не сойду я в сад, обманутый луной,
Не узнаю сладкой пытки ожиданья
Где-нибудь под старой царственной сосной.
Лик мой слишком строгий, как певца inferno,
Девушек смущает тайной прошлых лет,
И когда вдоль улиц прохожу я мерно,
Шепот потаенный пробегает вслед.
Больше никогда, под громкий говор птичий,
Не замру вдвоем у звонко-шумных струй...
В прошлом — счастье встречи, в прошлом — Беатриче,
Жизни смысл дающий робкий поцелуй!
В строфах многозвучных, с мировой трибуны,
Может быть, я вскрою тайны новых дней...
Не в ответ не встречу взгляд смущенно-юный,
И в толпе не станет чей-то лик бледней.
Может быть, пред смертью, я венок лавровый
Смутно угадаю на своем челе...
Но на нем не лягут, как цветок пунцовый,
Губы молодые, жаркие во мгле.
Умирают молча на устах признанья,
В мыслях скорбно тают страстные слова...
О, зачем мне снятся лунные свиданья,
Сосен мягкий сумрак и в росе трава!

(«Больше никогда...», 1914)

В свете восторженного отношения Брюсова к Данте оставалось непонятным: чем объяснить, что Данте даже не упомянут в таком

обширном стихотворении поэта как «Сходившие во ад» (1918)*, само название которого неминуемо заставляет вспомнить «певца Inferno»? Обращение к архиву Брюсова рассеяло недоумение: в рукописи этого стихотворения имеются — и притом в различных вариантах — строфы, посвященные Данте, которые не были почему-то воспроизведены составителями посмертного сборника 1928 года:

Спустя века встает виденье Данта,
Кто видел Ад, Чистилище и Рай;
И в центре мира Сатану-гиганта,
Мохнатым телом скрывшего весь край.
С Вергилием он Ад прошел до края,
Со Счастлием певца Энея свел,
Вознеся с Беатриче к сферам Рая
И видел, в светах, божеский престол.
Дант был последним... **

Как и Пушкин, Брюсов считал Данте учителем всех поэтов. Это отразилось не только в его знаменитом стихотворении «Поэту» (1907)***, но и в менее известных строках:

Поэт, кого вел по кругам Вергилий!
Своим сверканьем мой зажги сонет,
Будь твердым посохом моих бессилий!
(«Всем душам нежным
и сердцам влюбленным...», 1912)

* Это стихотворение было опубликовано в кн.: Валерий Брюсов. Незданные стихи. М.—Л., 1928, стр. 57–58.

** Рукописный отдел Всесоюзной Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, фонд 386, картон 12, ед. хр. 3, лл. 16–19 об. Вариант 3–5 строк данного отрывка:

Кто видел Ад, Чистилище, Эдем,
Пред ним, что карлы под стопой гиганта,
Певцы «Комедий», певшие пред тем.

*** Возможно, именно от этого брюсовского стихотворения «отталкивался»

Борис Пастернак, когда писал:
Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват...

(«Все наклоненья и залогии...», 1936)

Знаменательно, что для некоторых символистов Данте по понятным причинам был не столько «певцом Ада», сколько певцом «Рая» и «Новой Жизни». Так, склонный к мистике Вячеслав Иванов писал в стихотворении «Ad Rosam» (прологе к циклу «Rosarium»)⁶.

Тебя Франциск узнал и Дант-орел унес
В прозрачно-огненные сферы...

Эти строки он счел необходимым снабдить пояснением: “Рай” Данта раскрывает символику “мистической Розы”*. Сонет Вяч. Иванова «Cruх Amoris»⁷ начинается следующими строками:

«Amor e cor gentil son una cosa...»⁸
Тебе разоблачилась, Алигьери,
Любви земной и временной потери
Богоявленная апофеоза...

Вяч. Иванов был не одинок в подобной трактовке Данте, «подгонке» его под собственные концепции (в данном случае такой концепцией является «богоявленная апофеоза»), но для нас важно отметить, что русских символистов постоянно привлекало не только творчество Данте, но и сама его грандиозная фигура.

Надо сказать, что в самом конце XIX — начале XX века в нашей поэзии вырабатывается даже некий «штамп» при изображении Данте.

У Д. С. Мережковского он — «выходец из Ада величавый» («Микель-Анджело»). У К. Д. Бальмонта проявляется «медвяный Данте, с ликом обожженным» («Любимые»). Трудно понять, что хотел сказать Бальмонт эпитетом «медвяный» применительно к Данте, но в том же сборнике «Сонеты Солнца, Меда и Луны» (М., 1917) есть целое стихотворение, воспевающее пчелу (или — Пчелу?), а сонет, давший название всей книге, завершается так:

* Вячеслав Иванов. *Cor ardens*. Часть вторая. М., 1911, стр. 207. Отношение Вяч. Иванова к Данте раскрывают также его критические статьи и высказывания. См., например: Вячеслав Иванов. *По звездам*. СПб., 1909, стр. 35; его же. *Борозды и Межи*. М., 1916, стр. 150–151.

Тот мед, что пчелы собрали с цветка, —
Я взял. И вся пчелиная затея
Сказала мне, чтоб жил я не робея,
Что жизнь смела, безбрежна и сладка.

Одним словом, Бальмонту трудно приписать пушкинскую строгость в подборе эпитетов. Что касается «штампов» при создании образа Данте, то их не избежал и Блок. Правда, Ю. Н. Тынянов справедливо заметил: «Он [Блок] не боится такого общего, банального места в образе, как:

Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет»*.

Тынянов объяснял это тем, что Блок вообще «предпочитает традиционные, даже стертые образы (ходячие истины), так как в них хранится старая эмоциональность; слегка подновленная, она сильнее и глубже, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности»**.

Того, в чем оправдывали Блока вслед за Тыняновым многие исследователи, никак не мог простить ему О. Э. Мандельштам. В «Разговоре о Данте», рассказывая о периоде, когда «пышно развернулся невежественный культ дантовской мистики, лишенный, как и само понятие мистики, всякого конкретного содержания», поэт, в данном месте несколько тенденциозно, писал: «Появился “таинственный” Дант французских гравюр, состоящий из капюшона, орлиного носа и чем-то промышляющий на скалах. У нас в России жертвой этого сластолюбивого невежества со стороны не читающих Данта восторженных его адептов явился не кто иной, как Блок:

Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет...***

* Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. М., 1965, стр. 255.

** Там же, стр. 254.

*** Осип Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967, стр. 22.

Общеизвестно, что фраза Блока о «тени Данта с профилем орлиным» стала как бы ходячей и едва ли ее можно причислить к образам, наиболее ярко раскрывающим в русской поэзии образ великого флорентийца. Обратим, однако, внимание на факты, свидетельствующие о том, как чутко прислушивался Блок к Данте. Прежде всего, с терцинами Пушкина и поэмой Минаева преемственно связана «Песнь Ада» (1909) Блока, насыщенная сложными ассоциативными ходами, ведущими в конечном счете именно к Данте. В «Итальянских стихах» Блока встречается строка, брошенная как бы мимоходом: «Умри, Флоренция, Иуда...» Такой эпитет можно объяснить только глубокими размышлениями поэта о судьбе Данте-изгнанника, трижды приговоренного к смертной казни его родным городом. Наконец, даже вскользь сделанная заметка Блока о метрическом отличии строк «Божественной Комедии» от «дантовских терцин» Пушкина свидетельствует о пристальном, неослабевавшем внимании автора «Стихов о Прекрасной Даме» к творцу «Божественной Комедии»*.

Блок, конечно, читал Данте, и притом в подлиннике; верно даже, что в числе других дорог шел он и

...тропами Данта,
Опаленными темным огнем...

(Вс. Рождественский. «Александр Блок»)

Но вполне понятно, почему так обрушился на «Итальянские стихи» (1909) Блока Мандельштам, — ведь своим трактатом он хотел опрокинуть «отвратительную легенду» о Данте, ибо «то, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта»**.

Следы не просто чтения, а подлинного изучения творчества и биографии Данте носят произведения не только Брюсова и Мандельштама, но также других поэтов. Максимилиан Волошин,

* А. Блок обратил внимание на то, что здесь терцина Пушкина на одну стопу длиннее дантовской. См.: *Александр Блок. Собр. соч.* в 8-ми томах, т. VII. М.—Л., 1963, стр. 400. На тему «Блок и Данте» Р. И. Хлодовским опубликована специальная работа в сб.: «Данте и всемирная литература». М., 1967, стр. 176–248.

** Там же, стр. 15–16.

влюбленный в Париж, занял определенную позицию в споре о том, был ли Данте в Париже, и писал в сонете-дифирамбе городу на Сене:

Неслись года, как клочья белой пены,
Ты жил во мне, меняя облик свой;
И уносимый встречною волной,
Я шел опять в твои замкнутые стены.
Но никогда сквозь жизни перемены
Такой пронзенной не любил тоской
Я каждый камень вещей мостовой
И каждый дом на набережных Сены.
И никогда в дни юности моей
Не чувствовал сильнее и больней
Твой древний яд отстойной печали —
На дне дворов, под крышами мансард,
Где юный Дант и отрок Бонапарт
Своей мечты миры в себе качали.

Образ Данте проходит и во многих стихотворениях Н. С. Гумилева, относящихся к самым различным периодам его творчества («Беатриче», «Флоренция», «Отъезжающему», «Ода д'Аннунцио», «Последнее стихотворение в альбоме»).

После расправы над Орденом рыцарей храма, учиненной королем Филиппом IV, многие тамплиеры укрылись в Равенне, где, как известно, нашел себе убежище и Данте. Вряд ли случайно поэтому такое место в стихотворении Михаила Кузмина «Равенна»:

Изгнанница, открыла двери,
Дала изгнанникам приют,
И строфы Данте Алигьери
О славном времени поют...

Стихотворение под названием «Равенна» есть также у Владимира Эльснера, видимо, не случайно обратившегося к образу города, в котором оборвалась жизнь Данте. Вот финальные строфы:

Напоминает мне Равенна
Полуистлевший фолиант.
Здесь годы тягостного плена
Переносил изгнанник Дант.

Давно пуста его гробница,
Как зеркало бесцветных дней.
И что здесь может измениться,
Нарушить сон седых камней.

В этих стихах привлекают внимание многозначительные слова о пустой гробнице Данте, останки которого, как известно, были спрятаны, быть может, равенскими изгнанниками от ярости наместника святого Петра.

Ныне ставящий вопрос о «беатификации» Данте Ватикан никогда не смог простить ему утверждения права поэта на свершение «Страшного суда», каким, конечно, была «Божественная Комедия».

В последний год жизни Николаем Заболоцким было создано стихотворение «У гробницы Данте», где образ равеннского изгнанника рисуется с поразительной выпуклостью и силой:

Мне мачехой Флоренция была.
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит ее дела.
Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.
Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?
А голубь рвется с крыши и летит,
Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолета
Свои круги над городом чертит.
Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла.

Поэт Владимир Львов предпринял во многом интересную, несмотря на некоторые неточности фактического характера, по-

пытку раскрыть образ Данте, взглянув на него глазами Джеммы Донати — жены этого безмерно сложного человека:

Дал бессмертному Данте в жены
бог неведомую меня.
Как сосуд, в печи обожженный,
я не выдержала огня.
Мне труды его не по силам,
не по праву я им горда.
Был он мне любимым и милым —
недоступным он был всегда.
Безответная страсть немая,
вечно в горле комок тугой...
По ночам меня обнимая,
он глядится в глаза другой...

Известным по жизнеописаниям Данте эпизодом во флорентийском баптистерии⁹ навеяно стихотворение Варлама Шаламова «Рассказ о Данте»:

Мальчишка промахнулся в цель,
Ребячий мяч упал в купель.
Резьба была хитра, тонка,
Нетерпеливая рука
В купель скользнула за мячом,
Но ангел придавил плечом
Ребенка руку. И рука
Попала в ангельский капкан.
И на ребячий плач и крик
Толпа людей сбежалась вмиг.
И каждый мальчика жалел,
Но ссоры с богом не хотел.
Родная прибежала мать,
Не смея даже зарыдать,
Боясь святыню оскорбить,
Навеки грешницею быть.
Но Данте молча взял топор
И расколол святой узор,
Зажавший в мрамора тиски
Тепло ребяческой руки.
И за поступок этот он
Был в святотатстве обвинен

Решеньем папского суда
Без колебанья и стыда.

Ужасы войны ассоциировались с «Адом» Данте еще во времена первой мировой бойни. Читаем в «Войне и мире» Владимира Маяковского:

Дантова ада кошмаром намаранней,
громогосие меди грохотом изоржав,
дрожая за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.

В творчестве Маяковского 1915–1916 годов образ Данте, кстати, встречается не раз. Особого упоминания заслуживает использование Маяковским этого образа «от противного» в стихотворении «Себе, любимому, посвящает эти строки автор»:

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

...

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!..

Как видим, Маяковский хорошо понимал, что такое «высокое косноязычие» поэта!

Зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны заставили многих вспомнить картины дантова «Ада», ибо на реальной земле дотоле не существовало ничего подобного, что могло

бы по своим масштабам с этим сравниться. В 1944 году Надежда Павлович пишет стихотворение «Данте»:

Ты думаешь, это — Майданек,
Освенцим, Тремблинка, Львов?¹⁰ —
Здесь Данте сурово предстанет
В виденьях адских кругов.
Тот грешник, связанный в бочке,
Застыл в ледяной воде,
Быть может, грешней он прочих
И душ пропащих и тел?

...

Ты, знающий путь в преисподней,
Свой плащ над бездной влача,
Как будешь судить сегодня
Убийцу и палача?

На использовании дантовских аллегорий построена также поэма о войне Семена Кирсанова «Эдем».

Облик Данте, как и его творения, на протяжении почти полутора веков постоянно привлекал внимание русских поэтов. Основы правильного понимания Данте заложил Пушкин; он же в значительной степени определил отношение к автору «Божественной Комедии» со стороны своих современников и вплоть до наших дней. Емкого пушкинского эпитета *суровый* нет, скажем, в стихотворении Анны Ахматовой «Данте» (1936). Но чувствуется, что он представлялся ей именно таким, каким видел его Пушкин:

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою. —
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть.
Но босой, с рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...

Более раннее произведение Ахматовой «Муза» (1924) начинается словами:

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Яростная и нежная муза Данте — сестра пушкинской музыки, музыки русской поэзии.

